

...Ах, Мишель, Мишель, надлежит ли поручику, бывшему гусару, командиру лихой сотни, принимать так близко к сердцу вошедшую в силу весну, томный запах перволистья и мимолётную пресную свежесть талой воды, доносимую ветерком из подворотен и дворцовых палисадов? Что за бабская слезливость при виде звёздного узора, выложившего широкую полосу неба вдоль Невского проспекта, по которому мчалась карета в дом Карамзиных? Впрочем, здесь, на севере, и Венера, и другие светила казались ближе и родней. А на Кавказе, куда по воле службы он должен отбыть, ночи были неприветливы: не обычная темнота, а тьма тьмущая ложилась на горы и ущелья, зачастую окутанные туманной дымкой. И когда среди вершин всё же открывалось небо, причудливыми косяками и по-южному ярко вспыхивали звёзды, его преследовало ощущение таинственной торжественности и незримого присутствия высших сил, сверху глядящих на Землю и как будто проникающих исподволь в душу, наполняя её и восторгом, и мятежной тревогой, и предчувствием кончины...

Лермонтов ехал на прощальный ужин, по обыкновению размышляя и рассеянно поглядывая на фасады зданий и встречные экипажи. Мягко сгущались апрельские сиреневые сумерки. В памяти всплывали строки Додо Ростопчиной, посвящённые ему. Как всё же талантлива милая княгинюшка,

столь неожиданно ставшая другим за время его отпуска! Поэтическое напутствие Евдокии Петровны (она позволяла называть себя Додо только близким) было ответом на его стихотворение, написанное в альбоме. Оба они были известны публике как писатели. Но княгиня, не переставая хвалить лермонтовские стихи, как бы подтверждала его неоспоримое лидерство в русской поэзии.

Одобрительные отзывы в этот свой приезд слышал он повсюду и от других, даже от собратьев-писателей. Известность, пришедшая со дня написания “На смерть поэта”, ширилась. Разошедшееся в рукописях, это стихотворение принесло ему, однако, не упоение славой, а осуждение самодержца и арест, первую ссылку на Кавказ. “Отправлен по следам Пушкина”, — с горечью думал он тогда о себе. И эти негаданные испытания, постигшие его, как бы навек связали с любимым поэтом. Мучительной ценой и страданиями окупил он каждое написанное им слово! И странно, только в последнее время, после выхода книг и журнальных публикаций, он стал осознавать, что его творчество может влиять на настроения людей и ход событий. Иные не стесняются твердить ему в глаза “первостепенный поэт”, “продолжатель Пушкина”, “надежда отечественной словесности”, что неизменно вызывало в душе и протест и... отзвук обволакивающего елеем, манящего, где-то глубоко спрятанного тщеславия. И, ловя в себе это смешанное чувство, досаду на себя за слабость и зависимость от чьих-то снисходительных слов, вместо улыбки благодарности Лермонтов отвечал довольно сдержанно, иногда — двусмысленно и едко, ставя почитателей в тупик.

Демон просыпался в душе его, гневил, требовал покуролесить. Он едва удерживался, чтобы не объявить с вызовом, что пишет не ради того, чтобы одаривали любезностями и называли поэтом! Но желание это, к счастью, быстро угасало... Он ведь и сам не мог решительно понять, откуда дар сочинительства. Знал лишь одно, что волен в собственных желаниях и пишет о том, что тревожит, что подсказывает разум и требует сердце. И это до мук болезненное творческое своеволие не ведает границ, ничто не могло и не может поколебать его. “Вдохновение” — понятие индивидуально означенное. Каждый из сочинителей определит его по-своему. Для него же, прежде всего, это явившийся вдруг божественный зов. Будто бы наполняет душу властный неведомый гул, обретающий исподволь различные звуки, которым сопутствует порыв чувств, возносящий в чудное, непостижимо-сладостное забытьё...

Лермонтов с необоримой тревогой вспомнил о приближающемся отъезде, на память повторил строки Додо:

*Ему — поклоннику живому
И богомольцу красоты —
Там нет кумира для мечты
В отраду сердцу молодому!*

Да уж какие там, на военных перепутьях, кумиры! Снова экспедиции в глубь чуждого далёкого края, в аулы, ожесточённые схватки с горцами, кровь, убитые и раненые... А всё-таки чеченцы — славные ребята, храбрые воины. Умирают с высоко поднятой головой, бьются изо всех сил и до последнего патрона. Да и не было примеров, по словам сослуживцев, среди них предательства. А сколько раз в жизни светской, в офицерском кругу стерегла его клевета, ложь, измена! И чаще всего не открыто, а тайне, подленько...

Весь сегодняшний день он не находил покоя, расстроенный неожиданным приказом Клейнмихеля, дежурного генерала генштаба (хотя до этого дана была отсрочка), прервать отпуск и в течение 48 часов выехать в свой полк. Стало быть, недавнее предсказание гадалки, воспринятое им тогда с пренебрежением, не пустые слова!

Ничто не помогало ему вернуть обычную твёрдость духа, — даже чтение романа Купера. Он пробовал сочинять, но мысли рвались и казались мелкими. И снова на миг усомнился он в своём поэтическом назначении, как было давеча на балу у графа Воронцова-Дашкова, когда спросил у писателя Сологуба, верит ли тот в его талант? Беллетрист, неизменно державшийся

с дворянской надменностью, разразилась панегриком, а в глазах таилась что-то нехорошее, скользкое, недружелюбное...

Тот бал дорого стоил ему за бездумную оплошку, за желание привлечь к себе дам, пофорсить: он надел армейский сюртук с укороченными фалдами. Великий князь Михаил Павлович заметил это и помрачнел. Выходка только что приехавшего с Кавказа поручика, непочтение к форме в присутствии царственной особы грозила неприятностями, вплоть до ареста. И если бы не хозяйка бала, великодушная и мудрая графиня, которая поторопилась вывести гостя-своевольца через чёрный ход, а затем уговорила Великого князя снизить к молодости Лермонтова, то гроза наверняка бы грянула...

Повеселел и отвлёкся он лишь под вечер, просматривая две свои скромного вида недавно вышедшие книжки: "Герой нашего времени" и "Стихотворения". Обе были тиражом в тысячу экземпляров, обе пестрили корректорскими ошибками и цензурными исправлениями. И всё же это, напечатанное по настоянию его друзей, как бы материализованное из его творчества — роман, двадцать шесть стихотворений и две поэмы — было теперь для него самым дорогим богатством. Книжки, как бы отделившись от него, жили теперь собственной жизнью, они, по уверению приятелей, перехватывались из рук в руки, вызвали споры. И всё же, как это мало, ничтожно мало! Он представлялся, особенно при встречах с литераторами, не стихотворцем, а любителем, сродни музыкальному дилетанту. И при этом ощущал в душе досаду от несправедливости, преследующей его. Он мечтал издавать свой журнал, сочинять романы, жить в столице, вращаться в кругу родных по духу людей, которые ему всегда рады в доме Карамзиных. А вместо этого обязан носить мундир, служить на Кавказе в действующей армии, терпеть незаслуженную опалу великого князя и самого царя!

"Должно быть, мой недостаток в том, что слишком впечатлителен и помню многое, многое из прошлого, — больно отдалось в душе. — Не забываю ни радостных дней, ни страданий. И упорно ищу справедливости. Очевидно, поэтому возник слух, что у меня дрянной характер. Да, я субъективен. Часто неуступчив и неестественен, в силу дурацкой природной застенчивости. Но, видит Бог, никому не желал зла и не делал его сознательно. "Зло порождает зло", — это убеждение я сознательно приписал Печорину. Мы оба самолюбивы! Да, как и всякие добропорядочные господа. Ещё в молодости придумал я шкалу и расставил по ней различные степени чувства, которое принято называть собственным достоинством, как-то: самолюбие, гордость, высокомерие, спесь. Две последние ступени присущи негодяям и глупцам. Они не в состоянии оценить добро и добродетель, красоту искусства и могущество разума. Остроту или случайную насмешку воспринимают как оскорбление. Они так устроены, таковы в естестве своём. Французик Барант, трусишка и подлец, песчинка среди подобных личностей. И разве могу я покорно сносить их пренебрежительность, диктат, угрозы? Христос и Магомет не доступны оскорблению, ибо недостигаемы в своей вере, мудрости и силе духа... Да и дьявола оскорбить также невозможно, как это ни звучит кощунственно. А мы, смертные, мечемся. И нет среди нас ни одного святого и никогда не будет! И только искусство, музыка и поэзия даны роду человеческому в утешение, — это понимал Пушкин лучше всех! Они способны примирить с жизненными невзгодами и неизбежностью исчезновения с Земли. "Мы рождены для вдохновения, для звуков сладких и молитв"! Именно так, именно так... Все мои строки, посвящённые тем, кого любил и ненавидел, это — история моей души, духа, разума. Она не менее интересна, чем история какого-то народа или государства. Хорошо, что успел об этом написать в предисловии ко второму изданию "Журнала Печорина". А прежде многое было сочинено мною по случаю, небрежно, наспех. Да я и не собираюсь это обнародовать! Юношеский бред, а не пьесы... Хотя излишне выправленные стихи не трогают, тускнеют, как вялый изюм. Пушкин нарушал грамматику, добиваясь слитности слов и чувств. Да и мне в редакции у Краевского пришлось отстоять ошибочку: "Из пламя и света рождённое слово". Слова сами командуют подчас поэтом. Да и нечего делать, если "из пламени" в строку не ложится..."

Он вновь с безысходностью стал размышлять о том, что предстоящая служба не позволит ему всецело отдаться литературе. Мысли об упущенной из-за дуэли с Барантом возможности жениться на княгине Щербатовой, что могло дать шанс на выход в отставку, живо напомнили ему о прекрасной вдовушке и о других женщинах, которыми увлекался и которых любил...

Любил... Так ли это? И можно ли к этому причислить то чувство, исполненное радости и страха, умиления и ревности, которое он десятилетним мальчиком испытал к милой конопатой девчушке? И как определить самую любовь, если чувство это, умирая к одной, возникает, но уже совершенно иначе — к другой? Что это: чудная мечта, жажда наслаждений, желание подчинить женщину своей воле, инстинкт продолжения рода или поиск открытий в себе и других? “Любить... но кого же? На время — не стоит труда, а вечно любить невозможно...” Его обвиняют в байронизме и скептицизме. Да, он сполна отдал в молодости дань моде. Но ныне думает и чувствует по-новому! И запасов из пережитого хватит ещё надолго, не на один роман... Невероятно, но он так и не встретил той единственной, которая бы жертвенно разделила его судьбу. И, быть может, те скоротечные минуты счастья, умиления и восторга и те часы страданий от женских измен, разочарований и предательств имеют иное название? Бог весть. Видимо, плоть и дух живут по особым, никем ещё не разгаданным законам...

Где ты, юность чистосердечная, и первая страсть, до сих пор бережущая душу? Даже теперь, спустя одиннадцать лет, тайлось в памяти состояние потерянности, которое угнетало в Середниково, имении Стольпиных, где гостил он вместе с бабушкой. Семья Сушковых проживала по соседству и наезжала туда. Он познакомился с Екатериной, Катенькой-Черноглазкой, как звали её родные, у Верещагиных, а здесь, в стольпинских владениях, на аллеях тенистого парка сблизился и — влюбился. Девушка была старше его и готовилась “на выданье”. И ухаживание университетского полупансионера восприняла как забаву, сделав его своим “чиновником по особым поручениям”. Мишель носил её зонтик, шляпку, перчатки, которые — о, ужас! — не одиножды терял. Живая, с причудами и острым умом, Катя и благоволила, и дурачила, и доводила до слёз откровенными насмешками.

Тогда он впервые осознал, что Бог наградил его весьма заурадной наружностью, страшным несоответствием между тем, как выглядел внешне, и миром внутренним. С детства испытывал Михаил некую потаённую зависть к добропорядочным семьям, к мальчикам, у которых были родители. А он, выросший в глухом пензенском имении, окружённый дворней и воспитателями, был лишён родительской ласки. Он почти не помнил покойной матушки, был разлучён с отцом, которого бабушка отрешила от воспитания сына. Одиночество, окружавшее его с ребяческих лет, разбрасывало тенёта, обособляло. Да, жил в их доме троюродный брат Аким, его сверстник, бывали и другие гости с отпрысками. Многому научили его мудрые и бывалые губернёры-иностранцы. Бабушка Елизавета Алексеевна, любя единственного внука безумно, подчинялась его капризам, устраивала всяческие забавы, старалась, чтобы жизнь Мишеньки была интересной, вольной и радостной. На святки устраивались костюмированные представления, в которых участвовала вся дворня, а на снежных горках разыгрывались целые баталии! Рисование, чтение художественных книг да поэзия, милость Господняя своим добрым волшебством отогрели маленькую душу и наполнили его существование смыслом. Он помнил себя постоянно что-то сочиняющим: то стишки, то эпиграммки, то послания, то прозаические этюды. Он с радостью публиковал свои произведения в рукописном журнале. Елизавета Алексеевна, стараясь дать внуку всестороннее образование, отнеслась поощрительно к его поэтическим шалостям, которые захватывали всё настойчивей, унося в грёзах далеко и рисуя картины пленительные...

И вот теперь, встречаясь с Катенькой, зная, что приземист, неуклюж, он смиренно терпел выходки длиннонолой фурии и, не смея признаться в любви, как оглашенный, писал стихотворения, в которых воспевал её и выплескивал боль неразделённой мечты: “С тобою грех мне лицемерить, ты слишком ангел для того...” В сущности, мальчишка, наивный и доверчи-

вий, который, теряясь, даже улыбался криво. То, что другим подросткам, с приятным лицом и фигурой, давалось заведомо легко и безо всяких усилий, ему нужно было доказывать, подавать себя в выгодном свете, увлекать речами и остротами, именно завоевывать внимание прелестниц. Они же эту его вынужденную защиту, способ самоутверждения воспринимали как желание выделиться.

С той печальной влюблённости, и особенно когда стал офицером, взял он на вооружение эту манеру поведения: привычку дерзить, вести себя в обществе подчёркнуто независимо. С близкими людьми, которыми дорожил, он был одним, простым и откровенным, а среди светской коловерты, среди чуждых ему людей, вельмож, карьеристов, богачей-самодуров, самонадеянных мерзавцев точно надевал маску! И молва о Лермонтове, злобном, мстительном и надменном, благодаря языкам, которые “страшнее пистолета”, не случайно гуляла по обеим столицам. Что ж, “белеет парус одинокий”... Белеет, но не в будущем море, а среди бездушных, убийственных гостиных...

И всё же ни одна барышня, ни одна женщина впоследствии не позволяли себе так пренебрегать им, как мадемуазель Сушкова! Особенно мучительно было вспоминать, как вместе с подругой, которая открыла ей глаза на горячее чувство юноши, “этот ангел” учинил ему допрос. Мерно хлопая сложенным веером по ладони незанятой руки, сидя на скамье под липой, Катенька, как взрослая, задавала ему каверзные вопросы притворно-строгим, театральным голосом, требуя, чтобы не только сознался в своём чувстве, но и подробно описал, в чём оно заключается. А он, пламеняя во все лицо, то отводя взгляд, то взирая на “предмет своей страсти” затравленным волчком, что-то мямлил, говорил невпопад срывающимся голосом...

Через четыре года, каким мелочным не покажется этот поступок и он отомстил ей! Узнав, что семья Лопухиных против женитьбы Алексея, его приятеля, на Екатерине Сушковой, Михаил приударил за ней, прослывшей в свете кокеткой, и вскружил голову, что и расстроило предполагавшуюся свадьбу с Лопухиным. И, посчитав миссию выполненной, он скандально порвал с влюблённой пассией, назвав её в письме к кузине Александрии Верещагиной, “летучей мышью, которая цепляется за всё, что придётся”. Он твёрдо полагал, что всякий, имеющий честь, должен действовать в ответ на причинённое ему зло по известным канонам справедливости: наказание, месть, отмщение, возмездие. Возможно, с той, которую прежде обожествлял в стихах, он и обошёлся жестоко, но побеждать беса, увы, удаётся далеко не каждому и не всегда...

И было ещё у него, юного стихотворца, вслед за разлукой с черноокой насмешницей, бурное увлечение Наташенькой Ивановой, дочерью драматурга, тоже красивой и так же легко пренебрегшей им. Остались адресованные ей стихотворные посвящения, а в душе при воспоминаниях о Натали тледа теперь лишь сентиментальная грусть. Но тогда — о, Боже мой! — он стоял на краю губительной пропасти, уверившись сгоряча, что не способен добиваться взаимности у своих избранниц...

Господь судил ему повстречать тогда же, в юности, небесное существо, память о котором доселе затмевает прочих женщин! Это Варя, Варенька, сестра друга по университету. Её дружная московская семья жила на Малой Молчановке, по соседству с домом, который снимала Елизавета Алексеевна. У милых Лопухиных он бывал почти ежедневно. И непринуждённо-насмешливое отношение к живой, отзывчивой и развитой девушке, казалось, ничего не предвещало. С троюродным братом Акимом они даже позволяли себе, шутя, дразнить её: “У Вареньки родинка, Варенька уродинка”, — за что она корила их и осуждающе качала головой. Но однажды весенним закатом, направляясь в кругу молодёжи в Симонов монастырь ко Всенощной, Михаил оказался на скамье повозки рядом с этой темноглазой, очаровательной мечтательницей. И оба они почувствовали, что произошло нечто странное, необыкновенное в эти минуты! Они вдруг увидели друг друга, ощутили неведомое блаженство от этого открытия, так желанно сблизившего их. С этой поездки он всецело принадлежал своей возлюбленной, столь ранимой и несравненной Вареньке! Впервые в жизни повстречал он женскую душу, понимающую его!

Точно по мановению свыше, стихи Михаила стали иными — глубже и напряжённей. Он уже не ощущал себя “нищим”, тем героем своего стихотворения, которое посвятил Сушковой, он теперь уже не мог им быть, ибо девушка отвечала взаимностью. Ах, сколько счастливых часов провели они вместе, сколько нежных и взволнованных слов сказано было ими, какими неудержимыми и восторженными были признания!

*...Однако все её движенья,
Улыбки, речи и черты
Так полны жизни, вдохновенья,
Так полны чудной простоты.
Но голос душу проникает,
Как вспоминанье лучших дней,
И сердце любит и страдает,
Почти стыдясь любви своей...*

Лермонтова оторвал от воспоминаний громкий надсадный вороний грай. Птицы, обсыпавшие верхушку старой липы, устраивались на ночлег. Их крики зловеще, громче колёс, отдавались в весенних потёмках. К счастью, возница повернул в переулок. Впереди, под зажжёнными газовыми фонарями лоснились булыжники мостовой. В открытое окно второго этажа углового здания выплёскивалась чудесная мелодия — кто-то играл знакомый этюд Шопена.

Он поёжился, поправил на шее завязанный платок и с горькой усмешкой подумал, что, пожалуй, до окончания века будет нести в сердце вину и сожаление о том, что так самоуверенно отнёсся к обещанию Вареньки ждать, выйти за него замуж, когда “милый Мишель”, окончив юнкерскую школу, станет офицером. Она, всем сердцем преданная ему, хотя отец и недолюбливал избранника, наверняка сдержала бы своё слово. Стараясь сохранить покой в доме Лопухиных, Мишель переписывался не с ней, а с её сестрой Марией. Незримая нить, связывающая влюблённых, казалась неразрывной. Однако служба в лейб-гвардейском гусарском полку во многом изменила его, бросив в коловёрть светской жизни. Блистательные балы, обилие молодых красавиц и дам, всевозможные увеселения и пирушки закаруселили его среди высшего столичного круга. То, что он волочится за Сушковой и ничуть не скрывает этого, разумеется, стало известно Варе. А он не мог объяснить — да это было и немислимо! — что “делает роман” ради её же брата Алексея...

Навек запомнился ему и тот день, когда подали письмо, в котором сообщалось, что Варвара Лопухина дала согласие стать женой отставного майора Бахметьева, богатого помещика-холостяка. От столь внезапной потери он едва не лишился сознания! Ведь даже представить было невозможно неотвратимую разлуку с той, которую и на расстоянии никогда не забывал, любил сокровенно и знал, что любим ею, и верил в бесконечность этого обоюдного молодого чувства...

Карета остановилась. Окна дома, снимаемого Карамзинными, были освещены, вдоль широкой улицы стояли экипажи приехавших гостей. Лермонтов легко взбежал по ступеням крыльца. В прихожей, сбросив на руки седовласого лакея свою шинель и подав форменную фуражку, отрывисто бросил: — Доложи!

А сам подошёл к высокому, в полный рост, зеркалу. Он был в армейском мундире, но без погон. На шее чернел завязанный шёлковый платок, охваченный высоким белоснежным воротником рубашки. Лицо показалось ему смуглей и бледней, чем обычно. А глаза — устало опустошёнными и грустными. Эту ночь, обуреваемый раздумьями, он действительно спал скверно. Светлый вихор надо лбом выделялся среди тёмно-русых волос шире, чем прежде. “Неужели седею?” — удивился он своему неожиданному открытию...

— Милый Лерма! Как я рада вас видеть! — прозвучал за спиной звонкий голос Софьи Николаевны, хозяйки салона. — Все уже здесь. Ждём только вас!

Он порывисто обернулся, взял руку этой обворожительной, статной женщины, припал к ней губами и взглянул исподлобья. Сердце ёкнуло: “Покинуть этот дом, эту красавицу, круг родственных душ... Покинуть ради походных биваков, невежественных болванов и диких аулов... И, вероятно, навек!”

Однако ничем не выдал своего смятения:

— Я нахожу покой, дорогая Софи, только последний раз в жизни...

— Полноте, Мишель. Прошу не стенать и не хныкать, чтобы предстоящая дорога выдалась лёгкой! Идёмте, Додо ждалась вас...

В гостиной было довольно многолюдно: Ростопчина, Александра Смирнова, братья Карамзины, Вяземский. Среди незнакомых дам, возле бравого черноусого ротмистра сидела в уголке Наталья Николаевна Пушкина. Они были знакомы уже не первый год, но близко не сходились. Лермонтов уловил её сосредоточенный взгляд и, невольно улыбнувшись, издалека кивнул. Она также ответила лёгким движением головы. И он, считавший её недостойной гения и даже причастной к гибели Пушкина, впервые ощутил странное желание начистоту поговорить с этой женщиной, стоявшей с Пушкиным пред алтарём...

— Ну-с, сердечный друг, не припасено ли вами напоследок что-нибудь новенькое? — лукаво блестя глазами, спросила Софи.

— Да, да! — требовательным тоном родственницы подхватила рослая Александра Осиповна Смирнова. — Уж побалуйте, господин поручик, нас своим талантом.

— Наверняка бы побаловал, ежели б ведал, под каким соусом его готовят или подают сырым, — отшутился Лермонтов, прищуриваясь от яркого света. — Увы, Александрин, нынче я с пустыми руками.

— Так напишите сейчас, как в прошлый приезд, год назад! — предложила Смирнова, урожденная Росетти, со свойственным южанкам весёлым упрямством. — Глядели, глядели в открытое окно и написали шедевр. Или почитайте нам стихотворения по выбору.

— Позвольте просто напомнить строки, написанные в вашем альбоме:

*Что ж делать?... Речью неискусной
Занять ваш ум мне не дано...
Всё это было бы смешно,
Когда бы не было так грустно...*

— Грустить сегодня запрещено! — решительно возразила хозяйка и, взяв Лермонтова под руку, повела к Ростопчиной. — Дорогая Додо, заставьте улыбаться нашего поэта. По крайней мере, уймите его нерусский сплин.

И он с трепетной радостью поцеловал руку поэтессы, маленькую и лёгкую, как у девочки. И продолжительным взглядом ответил на её взор, тёплый, дружеский, слегка печальный. Додо для этого прощального вечера выбрала карминное платье из штофа, с большим декольте, украсила грудь рубиновым колье. Высокая причёска, открывшая её маленькие розовые ушки, в которых сияли треугольные серьги, очень шла ей, делая ещё моложе и прелестней.

— Вы сегодня выглядите, как греческая богиня! — полушёпотом воскликнул Лермонтов.

— Почему же — греческая? — удивлённо вскинула свои длинные ресницы приятельница.

— Потому, что у вас классический профиль. Если останусь жив и вернусь с Кавказа, непременно нарисую ваш портрет. Я думаю, для успеха женщины, пишущей стихи или выступающей на театре, необходимо непреложное условие: она должна быть красива. Предмет искусства и поэзии, прежде всего, — любовь. Представьте пигалицу, вопиющую о собственном чувстве. Нос картофелиной, глазки, как зёрнышки, ноги короткие, как у оловянного солдата, а сия чувственная особа страдающе молит: “О, приди ко мне, мой любимый и страстный! Я осыплю тебя поцелуями!”

— C'est trop! — протестующе воскликнула Ростопчина.

— Я говорю, как думаю. Кроме жалости и отвращения, это уродство ничего вызвать не может. А нашему брату, мужчине, многое прощается. Он не обязан пленять красотой! Более того, красавчики вызывают у меня отторжение. Мужчина должен быть храбр, умён и великодушен. И ему, женскому рабу, достаточно пасть пред ней на колени и просить у избранницы милости. Она владычица мира. Женщина, её красота — кумир поэтов и служителей муз. Вот я и говорю, Додо, что Бог дал вам талант в придачу к красоте!

— Да, не хотела бы я попасть к вам на язычок, — то ли с укором, то ли с сожалением проговорила княгиня. — Вы, Лерма, как всегда, бросаетесь в крайности. Внешность даётся богом и природой. И если есть среди нас земная богиня, несравненная по женственности, красоте и уму, то это Натали Пушкина. Потеря мужа, страшное несчастье изменили её, но не сделали менее прелестной. Взгляните на неё исподволь. Разве может кто-либо из нас сравниться с её скульптурной фигуркой или глазами, отливающими, как мокрый чернослив?! Она — само совершенство. Только Натали могла быть достойна великого человека!

— Узнаю поэтическую натуру! Но так ли это? Не слишком ли была она при жизни мужа благосклонна к тем, кто волочился и оказывал недвусмысленные знаки внимания? — резким голосом перебил Лермонтов.

— Mon ami, вы противоречите сами себе, — укоризненно покачала головой Додо и усмехнулась. — Сначала вы мне доказывали, что женщина обязана быть прекрасна, а теперь, если она такова, вы хулите её за то, что ею восхищаются и ухаживают за ней мужчины.

— Ничуть, о, мудрейшая! Я говорю о нравственности.

— И я тоже! Упрекнуть Наталью Николаевну, поверьте, даже мне, светской даме, существу пристрастному, не в чем. Софья Николаевна — её подруга. Она охарактеризует вам Натали лучше всех. Софи, если не ошибаюсь, гостила в доме Пушкиных как раз в тот час, когда Александра Сергеевича привезли с дуэли. И едва ли не последней она видела его перед кончиной. Вы же, много переживший, знаете, что горе измеряется глубиной, которую ничем и никак не подделаешь. Натали была на грани умопомешательства. И только недавно прервала добровольное уединение в родовом гнезде. Нет, Мишель, вы относитесь к Наталье Николаевне несправедливо. И будете об этом жалеть...

Лермонтов промолчал. Вдохнув, достал из кармана мундира табачную коробку, прикурил пахитоску от свечи канделябра. Вновь уловив добрый, опечаленный взгляд приятельницы, произнёс дрогнувшим голосом:

— Жутко тоскливо. Прощаюсь! Прощаюсь навсегда... Не хочу уезжать! И чувствую, как по-доброму изменился здесь, в вашем кругу, вообще в столице. Даже сентиментальным стал. Сегодня, когда ехал по Невскому, увидел удивительно ясные и чистые звёзды, как будто говорившие одна с другой. И слёзы навернулись... Почему-то стал сильнее ощущать природу, интересоваться людьми и не судить их прежними мерками. И всё больше думаю о российском обществе, о народе нашем, — и приглушённо заговорил по-французски. — *Ce qu'il y a de pire, ce n'est pas qu'un certain nombre d'hommes souffre patiemment, mais c'est qu'un nombre immense souffre sans le savoir.***

— Я с вами согласна. Слова достойны афоризма, — заметила Додо, искоса наблюдая, как некоторые из гостей раскланиваются с хозяйкой и выжидающе останавливаются у двери. — Мишель, с вами хотят проститься. Ужин пройдёт в узком кругу.

Короткие минуты, в которые он обнимался и обменивался репликами с приятелями, и пожимал руки незнакомым молодым людям, среди которых запомнился светловолосый прапорщик, глядевший на него с благоговением, растрогали Лермонтова. Обойдя кружок Ростопчиной, к которому присоеди-

* — Это слишком! (фр.)

** — Хуже всего не то, что некоторые люди терпеливо страдают, а то, что огромное большинство страдает, не сознавая этого (фр.)

нились братья хозяйки, блистательные гвардейские офицеры, он прошёл вдоль ряда красных кресел, пахнущих кожей, и стульев, расставленных так, чтобы гостям было удобно общаться. Совершенно случайно в тот момент, когда Лермонтов остановился напротив Натальи Николаевны, её две дамы-собеседницы и усатый гусар поднялись и удалились к выходу. Она, не скрывая удивления в своих огромных, завораживающих глазах, встала и приятельски протянула руку. А он, ощутив, как кровь прихлынула к вискам, странно оробел... Неловко поцеловал эту благоухающую руку... Неуклюже прошёл к свободному креслу...

— Мы одновременно посещали Карамзиных не один раз, но... Почему-то вы избегали меня, Михаил Юрьевич, — с доверительной теплотой проговорила Пушкина, и он отметил её приятный грудной голос и чёткую речь. — С того дня, когда моя сестра передала мне листок с вашим стихотворением “На смерть поэта”, я заочно полюбила вас, как человека и единомышленника. Я нашла в этом стихотворении некое утешение, поняла, что мою скорбь разделяют и другие. В такие страшные дни это важно. Потом я узнала, что вы понесли лишения и были наказаны ссылкой на юг, и это ещё больше заставило меня относиться к вам с глубоким уважением. Поэтому я хочу, пусть запоздало, поблагодарить вас за стихи о покойном муже, за то, что всегда хорошо отзываетесь о нём. Мне об этом говорили и Жуковский, и Вяземский.

— Весьма польщён вашей оценкой моих литературных опытов, — обрета привычное состояние духа, Лермонтов взглянул в глаза Натали. — Я только слышал о вас, встречал вас, но совершенно не знал... Каюсь! Точно незримая преграда стояла между нами. Не знаю, почему свет так враждебно настроен ко мне. Я никому не делал зла, старался быть искренним. А за это подвергся отчуждению и остракизму!

— Мне это знакомо особенно, — понимающе кивнула Натали, и её глаза подёрнула тень. — После гибели мужа весь мир земной, казалось, восстал против меня. Возможно, Бог и наказал меня за что-то, но только не за измену. Я любила и поныне люблю одного мужа. Как верно сказал Ларошфуко: “Великое чудо любви заключается в том, что она унимает кокетство”. Мне оно было неведомо, потому что никто не мог сравниться с моим Сашей...

— Я давно намеривался выразить вам, самому близкому человеку Александра Сергеевича, восхищение его творчеством и поклонение! Я никогда бы не постиг счастья созидания, тайных глубин поэзии, если бы не стал прилежным учеником Александра Сергеевича. Я не преувеличиваю!

Наталья Николаевна заинтересованно склонилась, и его окатил восторженный озноб от сознания, что перед ним первая красавица России, любившая и любимая гения! Её тёмно-русые волосы были расчёсаны на пробор и уложены с необыкновенным искусством, так что локоны ниспадали к ушам, открывая лоб, который пересекала по верхнему краю фероньерка, золотая цепочка с изумрудом в дорогой оправе. Восхитительно сидело на ней и зелёное платье, с шаровидными рукавами, отороченными кружевцами, плотно облегающее грудь и узкую талию. Нечто магнетическое было в выражении её лица с чудесной матовой кожей, в её плавных жестах...

— Сначала я переписывал его произведения в тетради, затем перedelывал их, придумывал иные окончания. Сочинил, подражая Пушкину, целую поэму “Кавказский пленник”. С ранних лет я неоднократно бывал на Кавказе, лечился там минеральными водами. Тема знакома, вот я и вообразил трагические картины... И сам не заметил, как стали получаться, складываться оригинальные стихи... — Лермонтов смущённо покраснел и вдруг спросил: — Как вы считаете, Наталья Николаевна, только ответьте откровенно, могли бы мои произведения понравиться вашему мужу?

Натали, размышляя, на мгновенье отвела взгляд.

— Безусловно! Я убеждена, что он не сдержал бы восторга, как всегда, когда радовался новым талантам. Иногда он снится мне, и мы беседуем, хотя я не запоминаю, о чём... Я до сих пор как бы чувствую его присутствие, интуитивно следую его подсказкам... Вы наверняка бы стали с ним друзьями!

Лермонтов посмотрел в сторону, стараясь скрыть предательски повлажневшие глаза. Сердце колотилось как бешеное!

— Сегодня у меня самый печальный и самый счастливый вечер в жизни, — признался он, доверчиво понизив голос. — Счастливый потому, что я узнал вас и услышал то, о чём даже не мечтал. А печальный... верней, прощальный, оттого, что едва ли я вернусь с Кавказа... Точно камень лежит на груди... А наемни ездил я с приятелем к немке-ворожее. К той самой Александре Филипповне, что предсказала вашему мужу смерть от “белого человека”. А Дантес, как мне известно, блондин... И она нагадала мне, что больше не быть в Петербурге, что “ожидает меня отставка, после которой уже ничего не пожелаешь”. Я посмеялся было, поскольку в тот день продлили отпуск. Ан вышло, что она не ошиблась.

— Милый Михаил Юрьевич, не верьте предсказательницам. Это грех. Это от лукавого. Нами распоряжается Господь. Молитесь и надейтесь на его помощь. Вы молоды и умны, вас ожидает блестящая будущность! Только об одном вас прошу: поберегите себя там, в баталиях кавказских. Будьте благоразумны. Теперь вы принадлежите не только себе, но России. Я буду ждать вашего возвращения. Сердце мне подсказывает, что всё будет славно!

— Если я вернусь, я заслужу ваше прощение за былую отчуждённость и холодность. Я ведь воспринимал вас как бесчувственную светскую львицу, неприступную красавицу. А нашёл искреннего и близкого по духу человека...

— Мне вас прощать не за что, — ласково промолвила Натали, вставая. — Напротив, я виню, что раньше не сказала вам, Михаил Юрьевич, о своей любви к вашему творчеству. И особенно рада, что, вопреки, как вы выразились, “неприступной красоте”, вы подошли ко мне, как к другу... Извините. Il faut partir!*

Карамзины с удивлением наблюдали за этой затянувшейся беседой, зная враждебность Мишеля к Пушкиной и дивясь столь быстрой перемене, произошедшей с ним.

Вечер подходил к концу, и Лермонтов всё острее ощущал безвозвратный бег минут. Наконец, лакеи открыли двери в столовую, и оставшиеся гости двинулись туда.

— Наталья Николаевна тронута, что вы подобрели к ней и наговорили комплиментов, — с радостью сообщила хозяйка, ведя его под руку. — Жаль, что уехала. Мы очень дружны. Я не знаю сердца отзывчивей и добрей, чем у неё... Мне кажется, Мишель, у вас улучшилось настроение. Уж не она ли тому причиной? Ну, и как вам наша красавица? Повержены в прах?

— Повержен. Но не только красотой. Вы правы, Софи. Есть сила иная, неодолимая... Я побеждён её сердцем.

* Нужно ехать! (фр.)